

Глава I

Да, да, сударыня, можете качать головой сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас — это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.

— *In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto**, — пропела Констанца с вызывающим видом.

— *Amen*** , — хором подхватили все остальные девочки.

— Скверный злюка, — сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

— Не по адресу! — произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам нескольких поколений юных особ женского пола. — И все-таки, — добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей, — эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка — не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и уж, конечно, не Розина, и еще того менее Микела...

— Значит, это я!

— Нет, я!

— Вовсе нет, я!

— Я!

* Во имя отца, и сына, и святого духа (*лат.*).

** Аминь (*лат.*).

6 — Я! — закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной.

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности — к тысяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика), — маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опуститься на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он — всегда такой скупой — только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко, но не самой красивой, а самой разумной.

— Консуэло? Испанка? — закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмо-

треть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

— Консуэло, — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, — иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina» Перголезе, которую ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или не выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.

— Хорошо, дочь моя, — сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. — Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами.

— Si, signor professore^{*}, — ответила Консуэло. — А теперь мне можно уйти?

— Да, дитя мое. Девушки, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги — неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, — которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колена, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновремен-

^{*} Хорошо, синьор профессор (лат.).

8 но и перекрестилась и поблагодарила его, и вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.

— Стыдно вам, красавицы! — сказал он. — Эта девочка — а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней — только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавирина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть понимание!

— Не мог не выпалить своего любимого словечка, — крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. — Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.

— Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? — сказала Джульетта. — Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.

— Мне говорили, что ее мать цыганка, — добавила Микелина, — и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное доверяют ее здоровые легкие.

— Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, — сказала красавица Клоринда, — я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.

— Вы потеряли бы не так уж много! — возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

— Она совсем нехороша собой, — добавила еще одна. — Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет, бесспорно: она дурнушка.

— Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!

Так девушки закончили свой панегирик в честь Консуэло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

Глава II

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие для замужества или для поступления в монастырь, как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои. На твоём месте я поступил бы точно так же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней те-

10 кла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или у еще более древних народов, но она принадлежала к потомкам Измаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для *zingarelle**. Не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной *ebbre*** . Она была спокойна, как вода лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности.

Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для ее возраста, и это придавало длинноногой четырнадцатилетней девочке особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не знал — до того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости форм, без всякой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее обезьяной, лимоном, чернушкой. Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутае за уши волосы и серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой оригинальности, правда, малоприятной. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей наружности и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится

* Цыганок (*итал.*).

** Еврейки (*итал.*).

в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует, — это и есть настоящая, истинная некрасивость, другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению, — подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца: такую именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и, когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, активный молодой синьор вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:

— Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «*Salve, Regina*»!

— А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? — спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

— Для того, чтобы вас поздравить, — ответил молодой человек. — Я давно уже слежу не только за вашими вечерними службами, но и за вашими занятиями с ученицами, — вы ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

— Клянусь Богом, это так, — проговорил профессор с самодовольной важностью, насладившись в то же время большой понюшкой табаку.

12 — Скажите же мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг, — настаивал граф. — Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, а солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, так возвышенна, так сурова, что редко кто из них может передать всю ее красоту...

— Они не могут передать эту красоту, потому что не чувствуют ее сами, — с грустью промолвил профессор. — В свежих, звучных, сильных голосах, слава Богу, недостатка у нас нет, а вот что до музыкальных натур — увы, они так редки, так несовершенны...

— Ну, одна-то у вас есть, и притом изумительно одаренная, — возразил граф. — Великолепный голос! Сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее, наконец!

— А ведь правда, она доставила вам удовольствие? — спросил профессор, избегая ответа.

— Она растрогала меня, довела до слез... И при помощи таких простых средств, так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы.

— А что же такое я вам говорил? — торжествуя спросил маэстро.

— Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве — это простота, — ответил граф.

— Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.

— Конечно. Однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица — она одна — стоит по ту сторону пропасти, а все остальные — по эту!

— Это верно и к тому же хорошо сказано, — потирая от удовольствия руки, заметил профессор.

— Ну, а ее имя? — настаивал граф.

— Чье имя? — лукаво переспросил профессор.

— Ах, Боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела, которого я только что слушал.

— А для чего вам это имя, граф? — строго спросил Порпора.

— Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?

— Я объясню вам причину, если вы предварительно откроете мне, почему так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

— Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?

— Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня завтра у вас ее, в свою очередь, может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы... Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду.

— Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, — возразил граф, улыбаясь, — какое зло усматриваете вы в этом?

— А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите эти бедные создания.

— Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?

— Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель: я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы — к игровым песенкам, от алтаря — к подмосткам, от великого — к смешному, от Аллегри и Палестрины — к Альбиони и к цирюльнику Аполлини?

— Итак, вы настолько непреклонны, что отказываетесь открыть мне имя этой девушки, хотя я не могу иметь на нее никаких видов, пока не узнаю, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

— Решительно отказываюсь.

14 — И вы думаете, что я не открою его сам?

— Увы! Раз уж вы задались этой целью, вы откроете его, но знайте, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.

— Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: я видел ваше таинственное божество, я его угадал, узнал...

— Вот как! Вы убеждены в этом? — недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.

— Глаза и сердца открыли мне ее, и в доказательство я сейчас набросаю ее портрет: она высока ростом — это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, — бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы, синие глаза и приятная полнота. На одном пальчике она носит колечко с рубином, — прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

— Bravo! — насмешливо воскликнул Порпора. — В таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы — Клоринда. Идите же к ней с вашими соблазнительными предложениями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам, а дерзкие взгляды — возвышенному уму.

— Неужели я так ошибся, дорогой учитель, и Клоринда всего лишь заурядная красотка? — с некоторым смущением проговорил граф.

— А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? — лукаво спросил маэстро.

— Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне; моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я бы еще мог обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

— Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

— Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчушки; не мой ли это питомец Андзолетто, самый смысленный и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интерес-

но для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в Венеции, страстная любовь к музыке и выдающиеся способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас позаниматься с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представлю тебя знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолетто вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют *fiore di mare**. Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Курчавые и вместе с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их на нитку, вперемежку с золотистым бисером, подошел к графу и, по местному обычаю, поцеловал ему руку.

— В самом деле, красивый мальчик! — проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. — Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для его лет делом; ведь ему, наверное, лет восемнадцать?

— Скоро будет девятнадцать, *signor profesor*** , — ответил Андзолетто по-венециански. — А вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.

— Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения, — проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолетто к своей ученице.

* Морскими цветами (*итал.*).

** Господин профессор (*итал.*).